В. И. ПАНАЕВ

О Державине

Из моих воспоминаний

Прежде всего, с некоторою, думаю, позволительною, гордостью, должен я сказать, что Гавриил Романович причитался мне, по матери моей, урожденной Страховой, внучатным дедом[1]. Родной брат ее, а мой дядя, следственно племянник Державина, Александр Васильевич Страхов, живший в последние годы царствования императрицы Екатерины и в первые императора Павла в Петербурге, был почти ежедневным посетителем знаменитого поэта, пользовался особенным его расположением, делил с ним и радостные, и горькие его минуты; а последних, как видно из записок Гавриила Романовича[2], было в ту пору у него немало. Поселясь впоследствии в казанском своем имении, дядя мой любил, бывало, особливо за ужином, завести речь о Державине, о высоком его таланте, благородных качествах, стойкости за правду, смелости при докладах по делам государственным. Хотя ужины эти по большей части продолжались далеко за полночь, но дядя мой говорил о любимом своем предмете с таким одушевлением, что я, несмотря на детский мой возраст, не только не дремал, но слушал его с жадностью и мало-помалу усвоил себе поня-

тие о Державине, об его личности, даже об его доме и некоторых, более оригинальных, в нем комнатах. Хотя дядя мой вовсе не занимался литературою, но любил читать вслух стихотворения Державина, помещенные в первой части его сочинений, изданной в 1798 году, экземпляр которой подарил ему автор, с следующей собственноручной надписью: *«Любезному племяннику Александру Васильевичу Страхову, в знак дружбы. Гаврила Державин»*[3]. Старшие братья мои, а вслед за ними и я, не только читали их и перечитывали, но и выучивали наизусть. Кстати рассказать здесь об одном случае, доказывающем, как чтилось дядею нашим имя Державина. Мы сидели за обедом. Это было уже в городе, перед поступлением моим в гимназию. Докладывают, что почтальон привез с почты какую-то посылку. Приказано позвать его в столовую. Почтальон подает письмо и небольшую посылку в форме книги. Дядя распечатывает письмо и с восторгом вскрикивает: *от Гаврила Романовича!* Державин уведомлял его о назначении своем в министры юстиции[4], звал в Петербург, надеясь быть ему полезным в тяжебных делах его, а в заключение препровождал к нему Хемницеровы басни, издание которых года за четыре перед тем приняли на себя Державин и Оленин[5] и на которые дядя мой подписался тогда у Державина. Не одна радость, а какое-то счастье разливалось по благородному лицу дяди, когда он читал письмо; но все присутствующее были поражены, когда он изумленному почтальону подал... как бы вы думали? беленькую пятидесятирублевую ассигнацию! Пятьдесят рублей в то время, в 1802 году, за письмо! Видно, что оно было драгоценно.

Независимо от объясненной выше родственной связи семейства нашего с Державиным, отец мой, принадлежа к образованнейшим людям своего времени и бывший в коротких отношениях с тогдашними литераторами, еще до женитьбы на

моей матери пользовался знакомством и добрым расположением Державина. Доказательством тому, между прочим, служит нижеследующее письмо отца моего, которым поздравлял он Державина с получением ордена Св. Владимира 2-й степени[6].

«Милостивый государь
Гаврила Романович!

По искреннейшей преданности и привязанности к вам моей сердечной, судите о той радости, какую я чувствовал, получа известие о последовавшем к вам во второй день сентября монаршем высочайшем благоволении. Моя радость была одна из тех, которых источник в самой душе находится. Больше я не могу изъяснить. Примите мое поздравление с новыми почестями, на вас возложенными. Бог, любящий добродетель и правоту сердца, да умножит награды и благополучие ваше — к удовольствию добрых и честных людей. С сим чистосердечным желанием и совершенным высокопочитанием пребуду навсегда,

милостивый государь,
вашего превосходительства
всепокорнейший слуга
Иван Панаев.
Октября 11 дня
1793 года.
Пермь».

Отец мой не мог лично передать мне никаких подробностей об отношениях своих к Державину, потому что скончался, когда мне не было и четырех лет; напротив, мать моя нередко о нем рассказывала слышанное от покойного своего супруга,

сама же видала его только в детстве, в доме матери своей, в Казани, где находился он по случаю пугачевского бунта, состоя в свите генералов, сначала Александра Ильича Бибикова, и потом графа Петра Ивановича Панина, командовавших войсками, назначенными против самозванца. Она нередко вспоминала об этом времени, о родственных ласках к ней Державина и между прочим рассказывала, как однажды приехал он к ним для перевязки легкой раны, шпагою в палец, полученной им на какой-то дуэли, прося об этом не разглашать[7]. Будучи уже вдовою, она постоянно, пред наступлением Нового года, писала к Гавриилу Романовичу поздравительные письма и получала ответные поздравления.

Таким образом, сперва семейные предания о Державине, а потом его творения, достоинство которых, по мере возраста моего и образования, становилось для меня яснее и выше, произвели то, что он сделался каким-то для меня кумиром, которому я в душе моей поклонялся, и часто говорил сам себе: «Неужели я никогда не буду иметь счастья видеть этого великого поэта, этого смелого и правдивого государственного мужа[8]?» Университетские товарищи мои, посвятившие себя словесности, тоже бредили Державиным и в свободное от классов время читали наперебой звучные, сочные стихи его. Во всех углах, бывало, раздаются, то ода «Бог», то «На смерть Мещерского», «На взятие Измаила», «На рождение Порфирородного отрока», то «К Фелице», «К богатому соседу», «Вельможа», «Водопад» и пр. Мы были признательнее настоящего поколения.

Приступаю к главному рассказу. В 1814 году, когда я, будучи уже кандидатом, оставался еще при университете, получил я однажды от брата моего Александра, служившего в гвардии, письмо, в котором он сообщал мне, что обедал на днях у Державина и что Гавриил Романович между прочим

спросил его: «Не знаешь ли, кто это такой у вас в Казани молодой человек, Панаев же, который занимается словесностью и пишет стихи, именно идиллии?» «Другой фамилии Панаевых, — отвечал брат, — кроме нашей, в Казани нет; это, вероятно, меньшой брат мой, Владимир, который с ребячества оказывал наклонность к поэзии». «Так, пожалуйста, напиши к нему, чтобы прислал мне, что у него есть».

Можете представить себе мое удивление и мою радость: Державин интересуется мною, моими стихами!

Тогда было у меня написано пять идиллий. Я озаботился чистенько переписать их и, при почтительном письме, отправил к Гавриилу Романовичу, прося сказать мне, от кого узнал он об упражнениях моих в поэзии. Но радость моя не имела пределов, когда вскоре получил я благосклонный ответ его. Целую зимнюю ночь не мог я сомкнуть глаз от приятного волнения. Самый университет принял в том участие: профессоры, товарищи, все меня поздравляли. Так ценили тогда великих писателей, людей государственных! Вот этот ответ, доселе мною сохраняемый:

«Милостивый государь мой
Владимир Иванович!

Письмо ваше от 26 октября и при нем сочинения вашего идиллии с удовольствием получил и прочел. Мне не остается ничего другого, как одобрить прекрасный талант ваш, но советую дружески не торопиться, вычищать хорошенько слог, тем паче, когда он в свободных стихах заключается. В сем роде у нас мало писано. Возьмите образцы с древних, ежели вы знаете греческий и латинский языки, а ежели в них неискусны, то немецкие Геснера могут вам послужить достаточным примером в описании природы и невинности нравов. Хотя климат

наш суров, но и в нем можно найти красоты и в физике, и в морали, которые могут тронуть сердце; без них же все будет сухо и пусторечие. Прилагаю при сем и русской образчик, который заслуживает внимание наилучших знатоков. Матушке вашей свидетельствую мое почтение. Братец ваш живет почти все в Стрельне, его здесь никогда не видно.

Впрочем, пребываю с почтением

ваш,
милостивого государя моего
покорный слуга,
Гаврила Державин.

P. S. Мне первый сказал о ваших идиллиях г. Бередников, который у вас теперь в Казани[9].

Прилагаю здесь и присланные стихи; они действительно очень хороши, но не идиллия.

Жатва

Заплети волнисту косу,
Платье легкое надень;
Серп возьми, а мне дай косу:
Даша! в поле встретим день.

Спорит свет еще со тьмою;
Но заря уже взошла.
Взглянь, как огненной струею
Весь восток она зажгла.

Все воскресло, оживилось;
Всходит царь веселых дней.
Море золота открылось
С зрелой жатвою полей.

Все, что глаз наш ни окинет,
Мы легко с тобой пожнем;
Лель на миг нас не покинет:
Не устанем мы втроем.

Хлеб себе трудом достанем,
Лишек с бедными разделим
И чужим довольством станем
Веселиться, как своим.

Копит пусть скупой доходы,
Пусть в засеках рожь гноит,
Сам себя лиша свободы,
Над казной своей не спит;

Недостаток и забота
С роскошью от нас ушли:
Ключ златой нам даст работа
Общей житницы — земли.

Так на что же плавить слитки,
Злато в яме хоронить?
Жизни не прибавишь нитки,
Как ее ни золотить.

Кто сохой свой хлеб находит,
Роясь век в земле сырой,
Тот без страха в гроб нисходит:
Он давно знаком с землей.

Скуки, праздности не знает;
Для него болезней нет:
Он на ветке увядает,
Как плоды принесший цвет.

Пусть богач одет парчами,
Пьет вино из чаш златых,
Пусть гордится теремами:
Не найдет покоя в них.

Взглянь на стебли возвышенны:
Что в их колосе пустом?
Те, что скромно наклоненны,
Те обильнее зерном.

Будем же судьбе покорны;
Низкость нам от бури щит:
Ветр ломает дуб нагорный, —
По лозам он лишь скользит.

Страшно в ров тому свалиться.
Кто юлит все на скале;
Как паденья нам страшиться? —
Близко мы живем к земле.

Но уж полдень наступает;
Прячется под лесом тень;
Нас дуброва призывает
Под свою прохладну сень.

Уберем снопы златые;
Щи горячие нас ждут:
Сдобрят кушанья простые,
При здоровье, легкий труд.

Пообедав, в нашей воле
Лечь под липовым кустом;
Утро мы трудились в поле,
Сладко час, другой уснем.

Изголовье нам душисто
Из цветов положит Лель
И под тенью ивы мшистой
Приготовил уж постель.

Лель! наш бог и друг сердечный!
Счастьем нас благослови:
Век наш был бы скукой вечной
Без подруги и любви.

О, любовь! останься с нами,
Как минет и юность дней;
Вместо роз, над сединами
Ландышны венки нам свей.

В старости любить утешно:
Смерть хотя б пришла в те дни,
Мимо нас пройдет поспешно —
Скажет: молоды они.

Бакунин[10]».

В благодарственном ответном письме[11], я, по студенческой совести, никак не мог воздержаться, чтобы не сказать откровенного своего мнения о стихах Бакунина; помню даже выражения. «Если, — писал я, — литература есть своего рода республика, где и последний из граждан имеет свой голос, то позвольте сказать, что прекрасное стихотворение г. Бакунина едва ли может назваться идиллею; оно, напротив, отзывается и увлекает любезною философиею ваших горацианских од».

Признаться, я долго колебался, оставить или исключить из письма моего эту педантическую выходку; но школьное

убеждение превозмогло, и письмо было отправлено. Впоследствии, будучи уже в Петербурге, с удовольствием узнал я от одного из ученых посетителей Державина, что он остался доволен письмом моим, читал его гостям своим, собиравшимся у него по воскресеньям, и хвалил мою смелость.

Наконец, в 1815 году выпал мой жребий ехать в Петербург для вступления в гражданскую службу, вместо военной, в которую рвался я с самого вторжения Наполеона в Россию, но встретил неодолимые препятствия, как со стороны университетского начальства, которое желало сделать из меня педагога, так и в сопротивлении моего дяди, который был полновластным главою нашего семейства. Мечтая дорогою о прибытии в столицу, всего нетерпеливее желалось мне видеть двух человек: императора Александра, вознесшего Россию на такую высокую степень славы, и Державина. Но император не возвращался еще с венского конгресса, а Державин — это было в августе — находился в новгородской своей деревне, Званке. Петербург ликовал тогда славою недавних побед нашей армии, славою своего Государя вторичным низвержением Наполеона. На всех лицах сияло какое-то веселье, в домах пели еще:

Хвала, хвала тебе, герой,
Что град Петров спасен тобой[12].

Заглохшая в продолжение нескольких лет торговля в полном развитии. Погода, как нарочно, стояла прекрасная. Я спешил воспользоваться ею, чтобы осмотреть достопамятности столицы. Вскоре последовала выставка Академии Художеств, начинавшаяся тогда 1 сентября. Отправляюсь туда; к особенному удовольствию, нахожу там портрет Державина, писанный художником Васильевским и, как говорили мне, очень схожий. Знаменитый старец был изображен в ма-

линовом бархатном тулупе, опушенном соболями, в палевой фуфайке, в белом платке на шее и в белом же колпаке. Дряхлость и упадок сил выражались на морщиноватом лице его. Я долго всматривался. Невольная грусть мною овладела: ну, ежели, думал я, видимая слабость не позволит ему возвратиться на зиму в Петербург? ну, ежели я никогда его не увижу?...»[13] На мое счастье в декабре месяце Державин возвратился. Спустя несколько дней еду к нему.

Он жил, как известно, в собственном доме, построенном в особенном вкусе, по его поэтической идее, и состоявшем из главного в глубине двора здания, обращенного лицом в сад, и двух флигелей, идущих от него до черты улицы, в виде двух полукругов. Будучи продан по смерти вдовы Державина, дом этот принадлежит теперь римско-католическому духовенству, несколько изменен, украшен в фасаде; но главный чертеж остается прежним. Смотря на него, невольно приводишь себе на память чьи-то старинные стихи:

Дом Ломоносова, великого пииты,
Жилищем сделался Демидова Никиты.

У подъезда встретил меня очень уже пожилой, небольшого роста, швейцар, и когда я сказал ему, кто я, он вскричал, с добродушным на лице выражением: «Да вы, батюшка, казанские, вы наши родные!» Швейцар этот, как я после узнал, был из числа тех трех Кондратьев, которых Державин вывел на сцену в одной шуточной своей комедии[14]. Он принадлежал к родовому имению своего господина и потому-то встретил меня так приветливо. «Пожалуйте за мною на верх, продолжал он: я сейчас доложу».

С благоговением вступил я в кабинет великого поэта. Он стоял посреди комнаты, как на портрете, только вместо бархатного тулупав сереньком серебристом бухарском халате,

и медленно, шарча ногами, шел ко мне на встречу. От овладевшего мною замешательства, не помню хорошенько, в каких словах я ему отрекомендовался, помню только, что он два раза меня поцеловал, а когда я хотел поцеловать его руку, он не дал и, поцеловав меня еще в лоб, сказал: «Ах, как похож ты на своего дедушку!» «На которого?» — спросил я и тотчас же почувствовал, что вопрос мой был не кстати, потому что Гавриил Романович не мог знать деда моего с отцовской стороны, не выезжавшего никогда из Тобольской губернии. «На Василия Михайловича (Страхова), с которым ходили мы под Пугачева», — отвечал Державин. — «Ну, садись, — продолжал он, — верно, приехал сюда на службу?» Точно так, и прошу не отказать мне в вашем, по этому случаю, покровительстве. «Вот то-то и беда, что не могу быть тебе полезным. Иное дело, если бы это было лет за двенадцать назад: тогда бы я тебе пригодился; тогда я служил, а теперь от всего в стороне». Слова эти меня поразили. «Как! — вскричал я, — с вашим громким именем, с вашею славою, вы не можете быть мне полезным?» «Не горячись, — возразил он с добродушною улыбкою, — поживешь, так узнаешь. Впрочем, если где наметишь, скажи мне: я попробую, попрошу». За сим он стал расспрашивать меня о родных, о Казани, о тамошнем университете, о моих занятиях, советуя и на службе не покидать упражнений в словесности; прощаясь же, просил посещать его почаще. Раскланявшись, я не вдруг догадался, как мне выйти из кабинета, потому что он весь, не исключая и самой двери, состоял из сплошных шкапов с книгами.

Дней через пять, часов в десять утра, я опять отправился к Державину, и в этот раз не для одного наслаждения видеть его, говорить с ним, а для исполнения возложенного на меня казанским обществом любителей отечественной словесно-

сти, которого был я членом, поручения исходатайствовать копию с его портрета и экземпляр нового издания его сочинений. «Копию? Да ведь это стоить денег!» — сказал Державин, улыбаясь. Не ожидая такого возражения, я несколько остановился, но вскоре продолжал: зато, с какою благодарностью примет общество изображение великого поэта, своего почетного члена, своего знаменитого согражданина. Да и где приличнее как не там; стоять вашему портрету? «Ну, хорошо. Но с которого же списать копию? с Тончиева, что у меня внизу? да он очень велик, поколенный». «А с того, что был на нынешней академической выставке?» — подхватил я, и опять некстати. «Как это можно, помилуй! — возразил он — там написан я в колпаке и в тулупе. Нет, лучше с того, который находится в Российской Академии, писанный отличным художником Боровиковским. Там изображен я в сенаторском мундире и в ленте. Когда будет готов, я пришлю его к тебе для отправления; а сочинения, можешь, пожалуй, взять и теперь. Их вышло четыре тома; пятый отпечатается летом: его пошлем тогда особо». Я забыл сказать, что в этот раз нашел я Гавриила Романовича за маленьким у окна столиком, с аспидною доскою, на которой он исправлял или переделывал прежние стихи свои и с маленькою собачкою за пазухой. Так большею частию заставал я его и в последующие утренние мои посещения. В продолжение же нашего разговора о портрете и книгах мы уже сидели на диване. Этот диван был особого устройства — гораздо шире и выше обыкновенных, со ступенькою от пола и с двумя по бокам шкапиками, верхние доски которых заменяли собою столики. Державин кликнул человека, велел принести четыре тома своих сочинений и вручил их мне. Принимая, я позволил себе сказать: «Не будете ли так милостивы, не означите ли на первом томе вашею рукою, что дарите их обществу? С этою надписью они будут

еще драгоценнее». — «Хорошо; так, потрудись, подай мне перышко». Он положил книгу на колено и спросил: — «Что же писать-то?» Что вы посылаете их в знак вашего внимания к обществу». Он не отвечал: но вместо *внимания* написал: в *знак уважения*. С книгами этими и портретом случилась впоследствии беда. Портрет был изготовлен и отправлен вместе с книгами не ранее марта месяца (1816 г.). Дорогою захватила их преждевременная растополь: посылка попала где-то в зажору и привезена в Казань подмоченною: Что касается до портрета, то университетский живописец Крюков успешно очистил его от плесени и хорошо реставрировал; книги же, разумеется, очень пострадали, так что секретарь общества, по поручению оного, умолял меня выпросить у Державина другой экземпляр. Не легко мне было сообщить об этой беде Гавриилу Романовичу, и не без сожаления он меня выслушал, но успокоился, когда я объяснил ему, что портрет не потерпел никакого существенного повреждения; книги же обещал он доставить, когда выйдет последняя, пятая часть, но не успел этого исполнить, и в библиотеке общества остался, вероятно, хранится еще и теперь, подмоченный экземпляр.

Описанное второе свидание мое с Державиным случилось дней за пять до праздника Рождества Христова. Прощаясь, он потребовал, чтобы 25 числа я непременно у него обедал. «Такие дни, — примолвил он, — должно проводить с родными. Я познакомлю тебя с женою. Да привези с собою и брата. Он, кажется, нас не любит».

Здесь надобно сделать некоторое отступление. Когда я отъезжал в Петербург, дядя мой выразил мне полную надежду, что Гавриил Романович примет меня благосклонно; родственно, и — большое сомнение в том со стороны супруги его, Дарьи Алексеевны. По его словам, она старалась откло-

нить старика от казанских родных его и окружала своими родственниками. То же подтвердил мне брат мой; то же заметил и я, когда явился к обеду в день Рождества Христова. Она приняла меня очень сухо.

В этот раз я почти не узнал Державина — в коричневом фраке, с двумя звездами, в черном исподнем платье, в хорошо причесанном парике. Гостей было человек тридцать, большею частию людей пожилых. Один из них, с необыкновенным даром слова, заставивший всех себя слушать, обратил на себя особенное мое внимание. «Кто это?» — спросил я кого-то, сидевшего подле меня. Тот отвечал: «Лабзин». Тогда внимание мое удвоилось: я вспомнил, что в бумагах покойного отца моего нашлось множество писем Лабзина, под псевдонимом Безьеров, — вероятно, потому, что, он, нигде «еров»[15] не ставил. В письмах этих, замечательных по прекрасному изложению, он постоянно сообщал отцу моему о современном ходе французской революции. Впоследствии я познакомился с Лабзиным, и это знакомство составляет любопытный эпизод в истории моей петербургской жизни.

В продолжение праздников я два раза, по приглашению Державина, был на его балах по воскресеньям, но от застенчивости посреди чуждого мне общества и от невнимания хозяйки скучал на них, не принимал участия в танцах, хотя, танцуя хорошо, мог бы отличиться. В эти два вечера занимали меня только два предмета: нужное обращение хозяина с тогдашнею красавицею, г. Колтовскою, женщиной лет тридцати пяти, бойкою, умною. Гавриил Романович почти не отходил от нее и казался бодрее обыкновенного. Второй предмет — это очаровательная грациозность в танцах меньшой племянницы Дарьи Алексеевны, П. Н. Львовой, впоследствии супруги упомянутого выше сенатора Бороздина. Она порхала, как сильфида, особливо в мазурке.

Холодность хозяйки сделала то, что я старался избегать ее гостиной и положил бывать у Гавриила Романовича только по утрам, в его кабинете, где он всегда принимал меня ласково. Расскажу несколько более замечательных случаев из этих посещений.

В начале 1816 года явился в Петербург Карамзин, с восемью томами своей истории. Это произвело огромное впечатление на мыслящую часть петербургской публики. Все желали видеть его, если можно, послушать что-нибудь из его истории. Двор также был заинтересован прибытием историографа: положено было назначить ему день, для прочтения нескольких лучших мест из его истории, во дворце, в присутствии их императорских величеств.

«Виделись ли вы с Карамзиным?» — спросил я однажды Гавриила Романовича. «Как же: он у меня был, и по просьбе моей обещал прочесть что-нибудь из своей истории, не прежде, однако ж, как прочтет у Двора; но как я не хочу один насладиться этим удовольствием, то просил у него позволения пригласить нескольких моих приятелей. На днях поеду к нему и покажу список, кого пригласить намерен; тебя я также включил. Но меня вот что затрудняет: Александр Семенович Шишков — мой давний приятель и главный сотоварищ по «Беседе»[16]: не пригласить его нельзя, а, между тем это может быть неприятно Николаю Михайловичу, которого, ты знаешь, он жестоко преследовал в книге своей «О старом и новом слоге». Через несколько дней Гавриил Романович рассказал мне, что он был у Карамзина, показывал ему список и объяснил затруднение свое относительно Шишкова; но Карамзин отозвался, что ему будет весьма лестно видеть в числе слушателей своих такого человека, как Александр Семенович, и что он не только не сердит на него за бывшие нападки, но, напротив; очень ему благодарен, поелику вос-

пользовался многими его замечаниями. «Я уверен, примолвил Державин с одушевлением, что история будет хороша: кто так мыслит и чувствует, тот не может писать дурно»[17]. Предположенное чтение, однако ж, не состоялось, потому что во весь великий пост не могло состояться и у Двора; оно было отложено до переезда императорской фамилии в Царское Село, а вскоре после Пасхи Державин, как увидим ниже, уехал на Званку.

Возвратившийся с конгресса император Александр Павлович уже два месяца оживлял столицу своим присутствием. Он ежедневно прогуливался пешком по Невской набережной и по Фонтанке; сани его, с брошенною на них шинелью, тихо ехали позади. Всякий, кто только мог, кому позволяло время, спешил встретиться с ним, взглянуть на него. Живши тогда у Семионовского моста, я каждый день, во втором часу, торопился выйти на Фонтанку, чтобы насладиться счастьем видеть обожаемого государя; а он — редкое соединение красоты и величия — казался мне не человеком, а чем-то свыше, каким-то неземным существом. Это время было, конечно, лучшим временем его жизни: великодушный победитель, восстановитель падших царств, успокоитель потрясенной, облитой кровию Европы, предмет любви и удивления целого света, он, казалось, сознавал в душе своей, что вполне совершил великий подвиг, на который призван был провидением. Это внутреннее довольство скромно выражалось на прекрасном лице его; а блестящие супружества двух сестер, великой княгини Екатерины Павловны и великой княжны Анны Павловны, им же устроенные, довершали тогдашнее его счастие. Увеселения Двора отражались в увеселениях города. Вскоре благочестивый государь пожелал явить столице торжество веры. День победы под Фершампенуазом и в особенности день вступления российских войск

в Париж почтил он молебствием и великолепным парадом на площади Зимнего дворца. Петербург был в восторге от давно невиданного зрелища, от славных воспоминаний: Державин написал стихи. Новость эта быстро разнеслась по городу. Я отправился к Гавриилу Романовичу. Это было в воскресенье, после обедни. Он сидел за большим письменным столом своим, а от него, полукругом, пятеро гостей, в том числе Федор Петрович Львов и Гаврила Герасимович Политковский, критиковавших какое-то стихотворение Жуковского. Как скоро они умолкли, я попросил позволения прочитать вновь написанные стихи. Державин мне их подал. А когда обратился я к нему с новою просьбою — дозволить мне взять их с собою и списать, он отвечал: «У меня только и есть один экземпляр, между тем, приезжают, спрашивают. Лучше сядь сюда к столу и спиши здесь...» Я сел. Державин оторвал от какой-то писанной бумаги чистые пол-листа, подал мне и придвинул чернильницу. Выписываю эти стихи. Они, конечно, не прежние державинские; но грех было бы и взыскивать. Довольно того, что всякое событие, к славе отечества относящееся, находило отзыв в теплой душе его и, несмотря на преклонность лет, воспламеняло в ней искру поэзии.

Сонет
на торжество, бывшее в Петербурге 19 марта 1816 года, на память взятия Парижа

Воспоминание парижского плененья
Представя Александр на невских берегах,
Неизреченный дух влил в россах восхищенья,
Что дал им торжество незримо зреть в полках.
Казалось, неба свод, полк ангелов склонились,
Чтоб зреть царей, цариц, лик пастырей, войск строй;
Но паче красоте души того дивились,
Кто в благочестье сем был истинный герой.

О Державине

За зло не воздал злом, не мстил страдальца кровью,
Но, прах его почтя, платил врагам любовью.
Се образ доблестей, который, как гора,
Век будет славой рость, как звезды не увянет.
Ничто так радовать тебя, Монарх, не станет,
Как память сладкая содеяна добра.

Стихи эти, писанные мною в кабинете Державина, его пером, на его бумаге, и теперь хранятся у меня в том же виде.

Великий пост 1816 года замечателен двумя торжественными собраниями «Беседы любителей русского слова», происходившими, как и прежде, в доме Гавриила Романовича. Они в полном смысле могли назваться блестящими. Многочисленная публика наполняла обширную, великолепно освещенную залу. В числе посетителей находились почти все государственные сановники и первенствующее генералы. Тут в первый раз видел я графа Витгенштейна, графа Сакена, графа Платова, которого маститый хозяин встретил с каким-то особенным радушием. На последнюю беседу ждали государя императора. Но когда все заняли свои места, вошел в залу с.-петербургский главнокомандующий, граф Вязмитинов, и объявил Державину, что государь, занятый полученными из-за границы важными депешами, к сожалению, приехать не может. Тогда началось чтение, и все вскоре догадались об истинной причине отсутствия государя. Член «беседы», Политковский, произнес ему похвальное слово! Не говоря уже о том, что оно было плохим подражанием Плинеева Траяну, возможно ли было ожидать, чтобы тот, кто постоянно уклонялся от похвал целого света, согласился выслушать их, лицом к лицу, от доморощенного оратора, говорившего битый час?

Наступала страстная неделя. Гавриил Романович предложил мне говеть с ним, для чего я должен был каждый день

приезжать обедать и оставаться до вечера, чтобы слушать всенощную. Но я воспользовался этим предложением один только раз — в понедельник. Холодность хозяйки поставляла меня в неприятное, затруднительное положение: я отговорился большим расстоянием моей квартиры от их дома и тогдашней распутицей.

В Светлое воскресенье я, однако ж, приехал обедать и потом не был целую неделю. Прихожу во вторник на Фоминой. Гавриил Романович был один в своем кабинете. Некоторые из шкапов стояли отворенные; на стульях, на диване, на столе лежали кипы бумаг. Спрашиваю о причине. «Во вторник на следующей неделе я уезжаю в Званку. Не знаю, приведет ли Бог возвратиться, так хочу привести в порядок мои бумаги. Ты очень кстати пожаловал: пособи мне». С искренней радостью принялся я за работу. Беру с дивана большую пачку, вижу надпись: «мои проекты». «Проекты? Вы так много написали проектов, и по каким разнообразным предметам!» — сказал я с некоторым удивлением, заглянув в оглавление. «А ты разве думал, что я писал одни стихи? Нет, я довольно потрудился и по этой части, да чуть ли не напрасно: многие из полезных представлений моих остались без исполнения. Но вот что более всего меня утешает (он указал на другую пачку): я окончил миром слишком двадцать важных, запуганных тяжеб; мое посредство прекратило не одну многолетнюю вражду между родственниками». Я взглянул на лежащий сверху реестр примиренных: это по большей части были лица знатнейших в государстве фамилий. Подхожу к столу, на котором лежали две кучки бумаг, одна побольше, другая поменьше — Трагедии? оперы? спрашиваю я, тоже с некоторым, по неожиданности, удивлением: я и не знал, что вы так много упражнялись в драматической поэзии; я думал, что вы написали одну только трагедию: Ирод и Марианна. «Целых пять, да три

оперы, — отвечал он. — Играли ли их на театре?» «Куда тебе! теперь играют только сочинения князя Шаховского, потому что он всем там распоряжает. Не хочешь ли прочитать которую-нибудь? Очень хорошо». «Так возьми хоть „Василия Темного“, что лежит сверху. Тут выведен предок мой Багрим. Да кстати возьми уж одну и из опер но с тем, чтобы по прочтении пришел к нам в субботу обедать и сказал бы мне откровенно свое мнение». Слова эти удивили меня по неожиданному лестному доверию к моему мнению и в то же время смутили при мысли, что произведения эти, судя по трагедии «Ирод и Мариамна», вероятно, найду я недостойными таланта великого поэта, что род драматический не его призвание. Но нечего было делать: я взял и «Василия Темного», и оперу «Эсфирь», которая тоже лежала сверху.

Возвратившись домой, принялся я читать. Ни та, ни другая мне не понравились, может быть, по предубеждению; по привычке к строгим классическим правилам, тем более, что трагедия имела форму почти романтическую, начиналась сценою в крестьянской хижине. Может быть, прочитав ее теперь, я судил бы о ней иначе, был бы справедливее, снисходительнее. Чем ближе подходила суббота, тем сильнее возрастало мое смущение. Мог ли я нагло солгать пред человеком, столь глубоко мною чтимым: похвалить, его произведение, когда убежден был в противном? С другой стороны, как достало бы у меня духа сказать ему правду? Я не знал, что мне делать, как выйти из трудного моего положения? Думал, думал и решился не ехать обедать. В этой решимости подкрепляла меня мысль, что, может быть, по старости лет, по сборам в дорогу, Гавриил Романович как-нибудь забудет, что дал мне эти пьесы, что звал меня обедать. Вышло, однако ж, напротив. В субботу, в седьмом часу вечера, докладывают мне, что пришел швейцар Державина, известный Кондратий.

Я тотчас надел халат, подвязал щеку платком, лег на кровать и велел позвать посланного. «Гаврила Романович, сказал Кондратий: приказали вам сказать, что они сегодня дожидались вас кушать и очень сожалели, что вы не пожаловали, да приказали взять у вас какие-то ихние бумаги». — «Ты видишь, — отвечал я, — что я нездоров: у меня сильно разболелись зубы». Я-таки перемогался; но кончилось тем, что не в силах был приехать, а дать знать о том было уже поздно; бумаги же хотел отослать завтра утром. Теперь возьми их с собою да, пожалуйста, извини меня пред Гавриилом Романовичем».

Мне и теперь еще кажется, что я поступил хорошо, уклонившись, хотя, правда, неделикатно и с примесью лжи, от обязанности высказать Гавриилу Романовичу откровенное мнение мое о его трагедии и опере. Но — увы! — эта студенческая честность стоила мне дорого, я лишился удовольствия с ним проститься, взглянуть на него в последний раз. Гавриил Романович, действительно, уехал в наступавший вторник, и через два месяца 8 июля, в день Казанской Божией Матери; скончался в сельском своем уединении, пропев эту лебединую песнь, достойную лучшего времени его поэзии:

Река времен в своем теченье
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей;
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Прах великого поэта покоится в Хутынском монастыре, в нескольких верстах от Новгорода. Для чего не в Казани, на

родине? Там, кажется, было бы ему теплее. Туда любил он переноситься душою. Посмотрите, с каким чувством, с какою любовью взывал он к местам, где протекли детские и юношеские его годы:

О, колыбель моих первоначальных дней,
Невинности моей и юности обитель!
Когда я освещусь опять твоей зарей
И твой по прежнему всегдашний буду житель?
Когда наследственны поля[18] я буду зреть,
Вас, дубы камские, от времени почтенны,
По Волге, между сел, на парусах лететь
И гробы обнимать родителей священны?[19]